



«Пушкин был русской весной, Пушкин был русским утром...» Это — строка из опубликованной в газете «Известия» 12 февраля 1922 года статьи Анатолия Васильевича Луначарского «Пушкин».

В июне 1926 года А. В. Луначарский посетил Святогорский монастырь — могилу Пушкина, Михайловское, Тригорское. Впечатлениям от этой поездки Анатолий Васильевич посвятил статью «На могиле Пушкина». Статья была опубликована в 1926 году в ленинградской «Красной газете». Вечерний выпуск за 6, 7 и 8 сентября. С тех пор статья никогда не перепечатывалась. А. В. Луначарский в те годы мечтал, чтобы пушкинские места были окружены всенародной заботой. Так и произошло.

И. ЛУНАЧАРСКАЯ.

Публикуем статью с небольшими сокращениями.

На могиле Пушкина

Из Пскова я выехал на станцию Тригорское. Оттуда на автомобиле в сопровождении местных властей я минут в 10 доехал до большого села, почти городка, расположенного вокруг монастыря.

В день моего приезда в селе была ярмарка. Наступал вечер, торговля стала ленивой, но народу все же было очень много. Наезжает он сюда издали. Прежде ярмарка была делом не только коммерческим, но имела отношение и к святогорской «святыне». Впрочем, и «святыня» в свою очередь весьма интересовалась коммерцией, и в меру святости знаменитого монастыря были богаты, гладки и долгогривы святогорские монахи.

Именно здесь, на ярмарке, опочковский обыватель, оставивший после себя курьезный дневник, мало уступающий знаменитой «Гоголевской летописи», видел, как он выражается, «Александр Сергеевича Пушкина», и поразился его видом, ибо поэт был одет в непривычно широкополую соломенную шляпу, рубашку с поясом и сапоги, имел огромную бороду, которую, очевидно, отпустил в Михайловском, и предлинные ногти на пальцах. Этими удивившими опочковского Нестора ногтями Пушкин срывал кожу с апельсинов, поедая их в великом множестве.

В столь же непривычном виде рисуют поэта воспоминания и других старых обитателей города Опочка, села Тригорского и окрестностей.

Поэт не стеснялся вмешиваться в толпу на базарах и ярмарках, подпевал нищим, гнусившим духовные стихи, с мальчишками играл в свайку.

О таком странном для помещика, хотя бы и опального, поведении кто-то (уж не архимандрит ли Иона, который «с церковной точки» блюл поэта — помните — вырос, как из земли в день визита Пушкина к нему) донес по начальству. Вдобавок ко всем местным блюстителям был прислан из Питера специальный шпик. Однако ничего предсудительного открыто не было.

Ярмарка, на которой любил потопкаться, побалагурить и прищипывать часто смертельно скучавший Пушкин, осталась. Должно быть, и товары продаются приблизительно те же: ложки да плошки, детские игрушки, товар скобяной, шорный и галантерейный, пряники, леденцы и т. п. Но монастырь — умер. Умер, как святыня. В нем зарождается теперь новая жизнь.

Когда я поджидал в автомобиле моих спутников перед отправлением в Михайловское — меня окружила довольно большая толпа, разглядывавшая меня с лю-

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ:

ПУШКИН БЫЛ РУССКОЙ ВЕСНОЙ



бопытством нейтрального характера. Тут какая-то рябая баба стала подталкивать и подговаривать окружающих вполголоса так, чтобы мне слышно было, наговаривая: «Скажите же ему, комиссару, что мы-де, всем довольны, ничего не просим, просим только открыть наш святой монастырь для молитвы. Скажите ему. Он распорядится». Но кроме этой рябой защитницы «былой святыни», других активных ходатаев за нее не находилось.

Да, в монастыре начинается новая жизнь! Ведь и надо, чтоб «молодая жизнь играла» у гробового входа великого поэта...

...Могилу производит глубоко художественное впечатление. Не только не мешают ему две плиты, указующие на место погребения очаровательной матери поэта и одного из Ганнибалов, но и надгробие какого-то архимандрита, похороненного рядом с Пушкиным; лучше оставить, как оно есть (конечно, поддерживая в приличном виде), и, по возможности, ничего не меняя во всем уже запечатленном историей облике этого торжественного места.

Место это торжественное. И не только потому, что вы чувствуете здесь близость дорогого сотням миллионов ушедших, живущих и имеющих родиться людей — праха. Оно, как нельзя лучше, несет на себе маленький белый памятник величайшего из русских писателей.

Холм поднялся над окрестной волнистой равниной; поднялся властно и спокойно. Он весь рос огромными вековыми деревьями. В просветы между ними глаз уходит далеко, скользит по разнообразному рельефу пригорков, оврагов, рощиц, селений. В ранний вечер, когда я там был, все это одето было игрой косых лучей и длинных теней, все было полно мира и крепкой думы. И совершенно под стать этому чуть-чуть грустному раздолью — серьезно и тоже чуть-чуть грустно, но беспрестанно шумят открытые на

холме всем ветрам зеленые великаны. Сторожат могилу. Зимой защищают от снега, весной шепчут о вечном возрождении, летом важно беседуют о загадочной значительности бытия, а осенью расточительно осыпают золотом великую гробницу.

Энергичные пушкинисты из «Дома Пушкина» требуют, чтобы на этих деревьях перестреляли ворон. Я думаю — не нужно. Во-первых, налетят другие, а во-вторых, этот вороний грай не показался мне назойливым и нелепым. Там тихо; голоса человеческие звучат на постоянном фоне шелеста листьев, как в огромном храме. Сперва даже не замечаешь, как кричат и

кричат суетливые черные птицы — там наверху. А когда заметишь — то гомон и карканье их как-то еще глубже дают почувствовать огромность обнимающего все пространства и его непробудной тишины, по самой поверхности которой скользят и сейчас же стираются эти скрипучие звуки. Вот сейчас, когда мне хочется вспомнить точно самую суть момента, пережитого мною на холме, я вспоминаю все: необъятную тишину, немолчаливый ропот растений, робкие голоса людей, и вкрапленный в эту величавую звуковую ширь, словно черная сетка, — вороний крик...

Михайловское

Дорога в Михайловское приятна, но запутана. Почти все время путь лежит через величественный заповедный лес.

В лесу полутемно. Заходящее солнце светит словно сквозь витражи готического собора. Девушки и девочки собирают бесчисленную землянику.

Мы приехали... ..Пушкинисты, прежде всего, ведут меня к действительно самому интересному.

Несколько пониже бывшего дома устроены прямо из земли скамьи или целые диваны, и в прогалину, между высоким кустарником, словно меж кулис, открывается чарующий пейзаж.

Редко где видел я такую гармоничную и многозначительную красоту. Да, этот кусок земли достоин быть колыбелью поэта и, пожалуй, именно русского поэта. Быть может, даже только нам, русским людям, натуру которых веками и наследственно отчасти формировал такой вот или подобный пейзаж, — так много говорит он и так уводит нас к каким-то большим настроениям, беспредельно широким, в которых тонет собственная личность, но которые в могуществе своем неопределенны, как все неограниченное.

В степи или в море раздолье

огромно, но глаз сразу пробегает однообразие круга земли и упирается в горизонт. А здесь перед этим типичным северорусским ландшафтом, — но типичным для русских прекрасных ландшафтов, — глаз скользит от одного контура к другому. Вся панорама многообразна. Два спокойных озера стелятся, живописно брошенные среди зеленых холмов, таких бархатных, таких ласковых, таких живых, словно прекрасные складки зеленой одежды на отдыхающем теле земли. По лугам четырехугольниками — разные посевы; села и усадьбы приоткрылись то на гребне, то в ложбине меж застывшими зелеными волнами. Почему никто не сделал из это-

го очаровательного куска родины живой и знаменитый портрет? Должно быть очень трудно перенести на плоскость эту уходящую даль, с такими скользкими, такими плавными рельефами и наклонными плоскостями, с такими нюансированными, едиными в основном и полными богатыми модуляциями красками. «Ширь, простор!» — вот первое, что произносишь перед этой картиной; но в этой шире есть какая-то нежность, есть какалая-то почти грустная простота. О нет — не убогая простота, а, напротив, уверенная в себе, простая в своей непосредственной красоте.

Никакой романтики нет в этом пейзаже. Перед ним так легко любить действительность. Перед ним понимаешь, что эта действительность может не быть ни серой, ни плоской, хотя бы ее и не расцвечивали индиги и пурпур юга, хотя бы ее и не разрывали пропасти и снежные горы. Все здесь умеренно. Каждая отдельная часть пейзажа кажется почти миниатюрной. Но переходя одна в другую, сплетаясь в целое, холмы и озера, дороги, здания и рощи зовут, зовут ваш взгляд в бесконечное, в неопределенное, к будущему, за край зримого, к неизвестному, великому... И, дойдя до горизонта, взгляды ваш сам собой поднимаются, чтобы тонуть в синеве неба и встретить там медленно плывущие золотые от солнечного прощания облака.

Старый парк, который был старым уже при Пушкине, уже ему говорил о дедах, старый темный лес и эта волнистая разнородная, озерами одухотворенная равнина — так хороши сами по себе, что кажется даже, будто Пушкин недостаточно их воспева.

Здесь на родной груди ему было скучновато. Да и это сказать: зимой все здесь засугроблено снегами и при Пушкине это место было, вероятно, настоящей трупобой. Пушкин не тот созерцательный поэт, который может годами заниматься диало-

гом с молчаливой красавицей природой. Его тянуло к обществу и даже, может быть, не к тому реальному обществу, где на одну отзывчивую душу приходилось столько глупцов и пошляков, а к какому-то другому, для которого пирушки, балы и споры были только никогда не удовлетворяющим символом.

Уж наверное, когда Пушкин сидел на своем земляном диване и привычный пейзаж заманивал его затуманенный взор за черту горизонта — ему рисовались иные страны, иные люди, и рос в нем тот страстный, бешеный порыв, который так внезапно, знойно, словно тоскующий оркестр разрывает шутильную ткань «Евгения» и лирическим

гейзером кипит стремлением туда, туда, в какую-то сказкой рисуемую Италию, к вольным народам, к вольным мыслям, вольным поступкам. Рядом с фундаментом погибшего дома находится небольшая избушка. Она носит сентиментальное наименование «домика няни Пушкина»...

Неподалеку, по другую сторону фундамента, построен новый дом. Здесь живет заведующий. Пока мы пьем здесь чай с земляничным вареньем и едим сверхъестественные порции той же земляники с молоком, мне рассказывают о разных недочетах и тревогах нашего здешнего хозяйства. Псковские власти близко, но их отдалает то, что заповедник состоит за центром. У музейного же отдела Наркомпроса рука не всегда достает до этих мест. Бывают порубки в заповедном лесу. Хозяйство убыточно.

Совсем уже нехорошо, что у заповедника есть затаенное недоразумение с окрестными крестьянами:

Крестьяне трех окрестных селений явились ко мне с претензиями. Оказывается, при помещиках они владели частью выгонов вокруг леса и в самом лесу, а пушкинисты, в естественном стремлении округлить заповедник, при национализации отхватили и эти выгоны. Крестьянам приходится круто.

Я обещал выяснять в Наркомземе, есть ли возможность удовлетворить крестьян за счет недалеких государственных лесов, а не то придется поступиться интересами заповедника. Плохая память Пушкину — обидеть во имя его окрестную бедноту.

Тригорское

В Тригорском немало разных зданий, но все это новое, хозяйственное. Здесь живет и арендатор заповедника. От дома, бесчисленное количество раз гостеприимно принимавше-

го поэта, остался только такой же, как в Михайловском, безобразный серый фундамент. Но парк цел. И не только цел, но великолепно разросся, хотя и принял, по всем данным, гораздо более запущенный вид, чем имел в те времена, когда жила здесь бойкая и сварливая вдова почтового чиновника Прасковья Александровна Осипова с дочерью и сыном от первого брака А. Н. Вульфом.

Вряд ли это семейство было особенно очаровательным. Сама хозяйка была человек характерный, а позднее и прямо нестерпимый; дочери были заурядные девицы, да и Вульф, в сущности, весьма тусклая личность.

Познакомился с ними Пушкин еще в 1817 году. И тогда сосед привлекли его. Прощаясь, он писал про «легкокрылые забавы», про «сладость» Тригорского и обещал:

«Приду под липовые своды,
На скат Тригорского холма,
Поклонник дружеской
свободы,
Веселых граций и ума».

Вернувшись в 1824 году, Пушкин, однако, по-видимому, немного ждал от соседей, от их «граций и ума», ибо в первые же дни после приезда писал Смирновой: «Соседки мои в Тригорском — несносные дуги». Да и А. П. Керн, человек, близкий семье Осиповых, хотя и говорит, что Пушкин был «нежен» к старухе Осиповой, но прибавляет «нежен и снисходитель».

Весьма возможно, что пренебрежительно ядовитые строки в «Евгении» о псковских барышнях имели в виду отчасти и тригорские барышни.

Как бы то ни было, Пушкину приходилось быть «снисходительным» к семье Осиповых потому, что больше делить вынужденный досуг было не с кем, а в Тригорском ему всегда были рады.

За младшей барышней Пушкин шутиливо приударивал, а старшая, насколько ему не нравившаяся, сама была в него влюблена.

И вот, подите же, как преобразает поэтический дар попадающие в его лоно явления действительности. Стендаль говорит о любви, что она подобна тем месторождениям сталактитов, где всякий предмет, туда попавший, обрастает как бы чешуей бриллиантов, блещущими кристаллами и преобразается, лишь слегка напоминая свою первоначальную форму. Это с еще большим правом можно сказать о поэтическом даре.

Возможно, что Пушкин прибавил к основному ядру действительности еще какие-нибудь из действительности же почерпнутые черты. Но все-таки в основном сестры Осиповы — Татьяна и Ольга, дерптский студент Вульф-Ленский с его «Геттингенской душой» и сам изумительный Пушкин — первый толчок к такому правдивому, широко типичному, почти заурядному Евгению.

Ольга сделана, по-видимому, близко к оригиналу. Татьяна до чрезвычайности, колоссально поднята над своим довольно нудным прототипом.

Интересно преобразование Вульфа. Пушкин вообще несколько переоценивал его. Считал его очень серьезным и образованным...

Как бы то ни было, но Пушкин, часто предаваясь здесь «легкокрылым забавам», в то же время остро наблюдал, мыслил, мечтал, и, когда ходишь теперь по запустелому парку, с такой страшной интенсивностью думаешь о нем, что кажется, насколько не удивился бы, если бы вдруг из купы деревьев или из-за угла здания появилась бы его задумчивая фигура.

Позднее, когда я уехал, мне живо представлялось, что я действительно видел его там. Конечно, приблизительно таким, каким изображен он на привычном памятнике, только без всякого величия. Мне вспоминалось, что он вышел из густой тени на солнце, упавшее на его курчавую, непокрытую голову, задумчиво опущенную, и будто он поднял голову и посмотрел на нас, людей, живущих через 100 лет, рассеянным взором. И за рассеянностью этих темно-карих глаз была огромная ушедшая в себя мысль. Может быть, он считал стопы созревшей строфы?

И, конечно, мы не посмели ни о чем спросить поэта. И так, смотря на нас, но нас не замечая, прошел он из тени в тень через короткую полосу уже догорающего вечернего света.

В этом образе, очевидно, сконцентрировалось для меня все виденное за день. И мне до того ясно представляется эта встреча, что по живости я не отличаю ее от других действительных впечатлений этого дня.

Тригорский парк прекрасен. Он еще живописнее и разнообразнее Михайловского. Мы обошли лишь небольшую часть его.

Мы видели, между прочим, гигантскую сосну, какой я никогда в жизни не видел. Она стоит на открытой поляне. Огромный ствол уходит в самое небо. Он гол и строго ровен, как колонна. От него сурово и мощно на почти пропорциональных расстояниях идут гигантские ветви, величиной с толстое дерево. Они протягиваются чудовищно далеко. И только на концах превращаются в тяжёлые мощные лапы. И так вышвысается ряд за рядом этот грандиозно-темный зеленый канцеляр. Чтоб видеть вершину, надо совсем запрокинуть голову. «Патриарх лесов». И по площадке врываюся в землю туловищами огромных удавов его пятистолетние корни. Исполин был таким же большим и старым, когда Пушкин родился. Но время берет свое. Дереву не было бы сноса. Но оно больно. На нем появился какой-то грибок, который, по словам ботаников, неминуемо и в отношении короткий срок, т. е. к тому времени, когда головы наших детей будут сидеть, съест дерево. Правда, его можно вылечить, — но на это нужно несколько тысяч рублей. А спросите-ка, как летят окрестные крестьяне? Вы услышите грустные ответы.

Но, может быть, дерево доживет до того времени, когда уже не стыдно будет затратить несколько тысяч на его лечение.